

Моей семье

И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю,
И скорьь моя подобна солнцу в холодной воде.

Поль Элюар

Часть первая

Париж

ГЛАВА 1

Теперь это случалось с ним чуть не каждый день. Если только накануне он не напивался до того, что утром вставал с постели словно в зыбком тумане, шел под душ, бессознательно, машинально одевался, и сама усталость освобождала его тогда от бремени собственного «я». Но чаще бывало другое, мучительное: он просыпался на рассвете, и сердце колотилось от страха, от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью, и он ждал: вот-вот речитативом заговорят в его мозгу тревоги, неудачи, голгофа начавшегося дня. Сердце колотилось; он пытался заснуть, пробовал забыться. Тщетно. Тогда он садился на постели, хватал не глядя стоявшую под рукой бутылку минеральной воды, отпивал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости — такой же мерзкой, какую представлялась ему собственная жизнь в последние три месяца. «Да что же это со мной? Что?» — спрашивал он себя с отчаянием и яростью, так как был самолюбив. И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей нервную депрессию, подобная слабость казалась ему оскорбительной, как пощечина. С юных лет он не слишком задумывался над самим собой, для него вполне

достаточно было внешней стороны жизни, а когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким болезненным, немощным, раздражительным существом он стал, то почувствовал суеверный ужас. Неужели этот тридцатипятилетний мужчина, который чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, — неужели это и есть он? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, полной веселья, смеха и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно, и он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал все с себя, но так и не мог укротить внутренней дрожи, чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием.

Конечно, ничто не мешало ему повернуться к Элоизе и заняться любовью. Но он не мог. Три месяца он не прикасался к ней, три месяца об этом и речи не было. Красавица Элоиза!.. Любопытно, как она с этим мирится... Будто чувствует в нем что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости угнетала больше, чем ее гнев или возможная измена. Чего бы он не дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела, неистовствовать, забыться — только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отравили его от Элоизы. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных и нелепых, оказывался бессильным

в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой.

Впрочем, он преувеличивал. Как-то раз, три недели назад, после знаменитой вечеринки у Жана, он овладел ею. Но теперь это уже забылось. Он слишком много выпил в тот вечер — на что были свои причины, — ему смутно помнилась лишь грубая схватка на широкой постели и приятная мысль при пробуждении, что очко выиграно. Словно краткий миг наслаждения мог быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Конечно, не бог весть что. Жизнь, которая прежде была так щедра к нему — по крайней мере он так считал, и это было одной из причин его успехов, — вдруг отступила от него, как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, к которой оно так долго ластилось. Представив себя в образе одинокого старика-утеса, он даже рассмеялся коротким, горьким смешком. Но ведь действительно, думалось ему, жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло, а исчезало куда-то. Сколько бы он ни твердил себе, сколько ни убеждал себя, что еще и сейчас у него есть много завидного: выигрышная внешность, интересная профессия, успехи в разных областях, — все эти утешения казались ему столь же пустыми, столь же никчемными, как слова церковных акафистов... Мертвые, мертвые слова.

Вдобавок вечеринка у Жана обнаружила, сколько отвратительной физиологичности было в его переживаниях. Он на минуту вышел из гостиной

и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. Тут у него выскользнуло из рук мыло и упало на пол, под умывальник; он нагнулся, хотел поднять. Мыло лежало под водопроводной трубой, розовый брусочек как будто прятался там; и вдруг эта розовость показалась ему непристойной; он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его руке. Жиль застыл на месте от ужаса. А когда распрямылся, весь в поту, и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрешенное любопытство, и чувство страха встало на свое место. Он вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина, схватил розовый обмылок. Но тотчас же швырнул его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой сучок; целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не «нынешние времена», а нечто совсем другое. Вот тогда-то он и признал, что «это» в самом деле случилось: он болен.

Но что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, с благодушным цинизмом, человек, пришедший к такому решению самым естественным путем — инстинктивно — и вдруг оставшийся с пустыми руками, даеще в Париже, в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году нашей эры? Обратиться к психиатру представлялось ему унижительным, и он решительно

отверг эту мысль — из гордости, которую склонен был считать одним из лучших свойств своей натуры. Значит, оставалось только одно — молчать. И продолжать это существование. Вернее, попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, он надеялся, что все это ненадолго. Время — единственный властитель, которого он признавал, — унесло его любовные утехы, его радости, горести, даже некоторые взгляды, и не было оснований сомневаться, что оно справится и с «этой штукой». Но «эта штука» была чем-то безликим, безымянным — он не знал, что это, в сущности, такое. А ведь может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознал.

ГЛАВА 2

Он работал в международном отделе газеты и в этот день все утро провел в редакции. В мире происходили кровавые, немислимые события, пробуждавшие у его собратьев щекочущее чувство ужаса, и это раздражало его. Не так давно, всего три месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы свое негодование, а теперь не мог. Ему было даже чуть досадно оттого, что этими событиями, происходившими на Среднем Востоке, или в США, или еще где-то, как бы пытались отвлечь его внимание от подлинной драмы — его собственной. Планета Земля вращалась в хаосе — у кого теперь могло возникнуть желание или нашлось бы время поинтересоваться его жалкими проблемами? Но разве мало часов потратил он сам, выслушивая мрачные исповеди и признания неудачников? Разве мало он совершил пресловутых подвигов спасения? И что же? Вокруг ходят люди с блестящими от возбуждения глазами, и только он один вдруг растерялся, точно заблудившийся пес, стал таким же эгоистом, как иные старики, таким же никчемным, как они. Внезапно у него возникло желание подняться этажом выше, к Жану, и поговорить с ним. Ему казалось, что из всех его знакомых

только Жан способен отвлечься от своих забот и посочувствовать ему.

В тридцать пять лет Жиль Лантье все еще был красив. «Все еще» — потому, что в двадцать он отличался редкостной красотой, которую, впрочем, никогда не сознавал, хотя и весело пользовался ею, пленяя и женщин, и мужчин (последних — бескорыстно). Теперь, пятнадцать лет спустя, он похудел, приобрел более мужественный облик, но в его походке, в движениях осталось что-то от победоносной юности. У Жана, который в прежние времена просто обожал его, хотя никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошел Жиль. Эта худоба, эти синие глаза, эти черные, слишком длинные волосы, эта нервозность... Право, он становился все более и более нервным, и другу следовало бы им заняться. Но он все не мог решиться: Жиль так долго был для него символом счастья и беззаботности, что он не решался заговорить об этом, как не решаешься посягнуть на давно и прочно сложившийся образ... Что, если он рассыплется прахом... и Жану, который с незапамятных времен был круглым, лысым, задерганным жизнью, придется убедиться, что на свете не существует прирожденных счастливых? Жан уже утратил немало иллюзий, но вот с этой иллюзией, быть может ввиду ее наивности, ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул, и Жиль осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, громоздившихся на письменных столах, на полу, на камине. Жан протянул ему сигарету. Из окна открывался вид на

серые и голубые крыши, на царство водосточных желобов, труб и телевизионных антенн, еще недавно восхищавшее Жилия. Но теперь он даже не посмотрел в ту сторону.

— Ну как? — сказал Жан. — Как тебе нравится, а?

— Ты это об убийстве? Да, можно сказать, ловко состряпали!

И Жиль замолчал, опустив глаза. Прошла минута; Жан, желая оттянуть объяснение, приводил в порядок папки на столе и при этом насвистывал, как будто целая минута молчания была естественной при их встречах. Наконец он решился: природная доброта возобладала надо всем остальным, он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним Жиль в те дни, когда от него, Жана, ушла жена, и вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже два месяца с Жилем творится что-то неладное — Жан это чувствовал, но все два месяца избегал разговоров по душам. Нечего сказать, хорош друг! Но теперь, когда Жиль предоставлял ему право, вернее, откровенно вынуждал его начать атаку, он не мог удержаться от маленькой инсценировки. Все мы таковы после тридцати: любое событие, затрагивает ли оно весь мир или только мир наших чувств, требует некоторой театрализации, для того чтобы оно пошло нам на пользу или дошло до нас. И вот Жан раздавил в пепельнице недокуренную сигарету, сел и скрестил на груди руки. Пристально посмотрев Жилию в лицо, он откашлялся и сказал:

— Ну как?

— Что — как? — отозвался Жиль.

Ему хотелось уйти, но он уже знал, что не уйдет, что он сам вынудил Жана начать расспросы, и, хуже того, у него даже стало легче на душе.

— Ну как? Не клянутся дела?

— Не клянутся.

— Уже месяца два? Верно?

— Три месяца.

Жан определил срок наугад — просто хотел показать, что душевное состояние Жилия не осталось незамеченным, и если он до сих пор об этом не заговаривал, то лишь из деликатности. Но Жиль тотчас подумал: «Строит из себя проницательного человека, хитрюга, а сам на целый месяц ошибся...»

Но вслух сказал:

— Да, уже три месяца мне скверно.

— Конкретные причины? — спросил Жан и резким движением поднес зажигалку к сигарете.

В эту минуту Жиль возненавидел его: «Хоть бы оставил этот тон полицейского чиновника, эдакого многоопытного субъекта, которого не разжалобишь. Хоть бы не ломал комедию». Но вместе с тем ему хотелось выговориться — непреодолимая, теплая волна подхватила его и повлекла к откровенности.

— Причин — никаких.

— Вот это уже серьезнее, — бросил Жан.

— Ну, все зависит... — возразил Жиль.

Неприятный его тон сразу вывел Жана из роли бесстрастного психиатра; он встал, обогнул стол и, положив руку на плечо Жилия, ласково забормотал: «Ну ничего, ничего, старик», и от этого у Жилия, к великому его ужасу, на глазах выступили слезы. Решительно он никуда не годится. Он про-

тянул руку, взял со стола шариковую ручку и, нажимая на головку, принялся сосредоточенно выдвигать и убирать стержень.

— Что же у тебя не ладится, старик? — спросил Жан. — Может, ты болен?

— Нет, не болен. Просто мне ничего на свете не хочется, вот и все. Кажется, модная болезнь, да?

Он даже попытался ухмыльнуться. Но в сущности, ему отнюдь не было легче оттого, что его душевное состояние оказалось явлением распространенным и официально признанным во врачебном мире. Скорее, было даже обидно. Раз уж на то пошло, он предпочел бы считаться «редким случаем».

— Так вот, — с усилием заговорил он. — Мне больше вообще ничего не хочется. Не хочется работать, не хочется любить, не хочется двигаться — только бы лежать в постели целыми днями одному, укрывшись с головой одеялом. Я...

— А ты пробовал?

— Конечно. Хватало ненадолго. К девяти часам вечера меня уже тянуло покончить с собой. Простыни и подушки казались мне грязными, мой собственный запах — омерзительным, обычные мои сигареты — просто гадостью. Это, по-твоему, в порядке вещей?

Жан буркнул что-то невнятное: эти детали, указывавшие на психический надлом, коробили его больше, чем любые непристойные подробности, и он в последний раз попытался найти логическое объяснение.

— А как с Элоизой?

— Что — с Элоизой? Терпит меня. Как тебе известно, нам с ней, в общем-то, не о чем разговари-

вать. Но она меня действительно любит. А я, знаешь ли, выдохся. И не только с ней, а вообще. Ну, почти что. Если даже что-то и получается, мне скучно. Так что...

— Ну, это не страшно. Наладится.

И Жан попробовал было засмеяться, свести все дело к уязвленному самолюбию ослабевшего петушка.

— Тебе надо посоветоваться с хорошим врачом, принимать витамины, подышать чистым воздухом — и через две недели опять начнешь за курочками гоняться.

Жиль вскинул на него глаза. Он даже зашелся от злости.

— Да не своди ты все к этому. Мне на это наплевать, понимаешь? Наплевать! Мне ничего не хочется, понимаешь? Не только женщин. Мне жить не хочется. Существуют для таких случаев витамины?

Наступило молчание.

— Выпьешь виски? — спросил Жан.

Открыв ящик стола, он извлек бутылку шотландского виски и протянул ее Жилю; тот машинально отпил глоток и, вздрогнув, замотал головой.

— Мне теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть. Алкоголь меня больше не возбуждает. И уж во всяком случае не в нем же надо искать выход, верно?

Жан взял у него бутылку и отпил большой глоток.

— Пойдем, — сказал он. — Пошатаемся немного.

Они вышли. Париж был восхитителен до слез в горле своей ранней весенней голубизной. И ули-

цы были все те же, прежние, и те же были на них быстро, тот же ресторан «Шлюп», куда они обычно ходили всей братией отмечать какое-нибудь событие, и тот же бар, куда Жиль бегал тайком звонить по телефону Марии в те времена, когда любил ее. Боже мой, вспомнить только, как его тогда трясло в душной телефонной будке и как он читал и перечитывал, не понимая, надписи на стенке, а телефон все звонил и звонил, и никто не брал трубки! Как он мучился, как старался напускать на себя развязность, когда, положив трубку, заказывал хозяйке стаканчик у стойки, выпивал его залпом, как щемило у него сердце — щемило от тоски, от бешенства, но он жил тогда! И хотя он был поработан в ту страшную пору, хотя его топтали ногами, это была почти завидная участь по сравнению с теперешним его прозябанием. Пусть его ранили, но по крайней мере хоть ясно было, в чем причина этой боли.

— А что, если поехать куда-нибудь? — сказал Жан. — Взять недели на две командировку для репортажа.

— Неохота, — ответил Жиль. — Как подумаю о самолетах, о расписаниях, о незнакомых гостиницах, о людях, у которых надо брать интервью... Нет, я не в силах... Да еще с чемоданом возиться... Ох, нет!

Жан искоса поглядел на него и на мгновение подумал, уж не ломает ли его друг комедию. Жиль, случалось, любил поиграть, тем более что все обычно попадались на эту удочку. Но сейчас на его лице был написан такой искренний страх, такое неподдельное отвращение, что Жан поверил.

— А то давай проведем вечер с девочками, как в доброе старое время. Как будто мы с тобой деревенские парни, решившие погулять в столице... Нет, это чепуха... А как твоя книга? Твой репортаж об Америке?

— Уже штук пятьдесят таких книг написано, и куда лучше моей. Неужели ты думаешь, что я способен написать хотя бы две интересные строчки, когда меня ничто не интересует?

Мысль о книге окончательно доконала его. Действительно он намеревался написать книгу очерков о США, так как хорошо знал эту страну, действительно мечтал написать — даже составил план. Но теперь — и это была истинная правда — он не мог бы написать ни единой строчки или развить какую-либо мысль. Да что же, в конце концов, с ним такое? За что он наказан? И кем? Он всегда относился по-братски к своим друзьям, а с женщинами был даже нежен. Он никогда и никому сознательно не причинял зла. Почему же в тридцать пять лет жизнь, как отравленный бумеранг, ударила его?

— Я сейчас скажу, что с тобой, — загудел возле него голос Жана, успокаивающий, невыносимый голос. — Ты переутомился, у тебя...

— Не смей говорить, что со мной, — заорал вдруг Жиль на всю улицу, — не смей говорить, потому что ты не знаешь! Потому что я сам, слышишь, я сам этого не знаю! А главное, — окончательно теряя терпение, добавил он, — отвяжись ты от меня!

Прохожие смотрели на них; Жиль вдруг покраснел, схватил Жана за лацканы пиджака, хотел было что-то добавить, но круто повернулся и, не попрощавшись, быстро зашагал к набережной.

ГЛАВА 3

Элоиза ждала его. Элоиза всегда его ждала. Она работала манекенщицей в крупном доме моделей, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жилия два года назад, в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии и он уже больше не мог выносить одиночества. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение. Долгое время они в известном плане превосходно ладили друг с другом, но теперь Жиль с тоской думал, как провести с ней вечер, что ей сказать. Конечно, он мог бы уйти из дому один — под предлогом, что его пригласили на ужин, она бы не обиделась, но его совсем не соблазняла еще одна встреча с Парижем, с улицей, с ночным мраком — ему хотелось забиться в угол и побыть одному.

Он жил на улице Дофина в трехкомнатной квартире, которую так и не обставил как следует. Вначале он с энтузиазмом прибавал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выби-

рал место для книжного шкафа, для телевизора — словом, с увлечением обзаводился всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают ее. А теперь он с досадой смотрел на все эти вещи и не в силах был даже взять с полки книгу — это он-то, целыми днями пичкавший себя литературой! Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты, чтобы не пропустить какой-нибудь сногшибательной передачи, а увидев Жилия, вскочила и с веселой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его — эта поспешность показалась ему неестественной и смешной, слишком в духе «твоя маленькая женушка». Он направился к бару — вернее, к столику на колесиках, служившему баром, — и налил себе виски, хотя пить ему совсем не хотелось. Потом уселся в такое же кресло, как Элоиза, и тоже уставился с заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Элоиза повернулась к нему.

- Удачный был день?
- Очень. А у тебя?
- Тоже.

И она, казалось с облегчением, снова воззрилась на экран. Там какие-то молодые люди пытались составить слово из деревянных букв, которые дикторша с милой улыбкой разбросала перед ними. Жиль закурил сигарету, закрыл глаза.

- По-моему, это «аптека», — сказала Элоиза.
- Прости?
- Мне кажется, что слово, которое им надо составить, — «аптека».

— Вполне возможно, — согласился Жиль.

И он снова закрыл глаза. Потом попробовал сделать еще глоток. Но виски уже успело согреться. Жиль поставил стакан на пол, затянутый коврином.

— Звонил Никола, спрашивал, не хотим ли мы поужинать сегодня с ним в клубе. Как ты думаешь?

— Там видно будет, — ответил Жиль. — Ведь я только что вернулся.

— Но если тебе не хочется выходить, у нас в холодильнике есть телятина. Можно ужинать и смотреть детектив по телевизору.

«Отлично, — подумал он. — Богатый выбор: либо ужинать с Никола, который в сотый раз будет объяснять, что, если бы наше кино не было так продажно, он, Никола, давно бы создал шедевр. Либо сидеть дома и смотреть по телевизору глупейшую передачу, закусывая холодной телятиной. Ужас!» Но ведь прежде он выходил по вечерам, у него были друзья, он развлекался, встречался с новыми людьми, и каждая ночь была праздником!.. Где же его приятели? Он хорошо знал, где его приятели, — достаточно протянуть руку к телефону. Им просто надоело безрезультатно звонить ему в течение трех месяцев — вот и все. Сколько он ни перебирал в памяти имен, гадая, кого бы ему хотелось сейчас увидеть, таких людей не нашлось. Только этот подонок Никола все еще цепляется за него. Причина ясна: нечем платить за выпивку. Зазвонил телефон, но Жиль не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключение или какая-нибудь удача. Теперь же к телефону подходила Элоиза. Она крикнула из спальни:

— Это тебя: Жан звонит.

Жиль замялся. Что сказать?

Потом вспомнил, что днем грубо обошелся с Жаном, а грубость всегда выглядит и некрасиво, и глупо. В конце концов, ведь он сам полез к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посреди улицы. Он снял трубку.

— Это ты, Жиль? Ну что у тебя?

— Все в порядке, — ответил Жиль.

Голос Жана был теплый, встревоженный — голос настоящего друга. Жиль растрогался.

— Прости, что так вышло сегодня, — сказал он, — я, видишь ли...

— Завтра поговорим о серьезных вещах. Ты что делаешь вечером?

— Да наверно, я... наверно, мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину.

Это был настоящий, едва прикрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнес:

— Знаешь, нечего тебе дома сидеть. Сегодня в «Бобино» премьера. Если хочешь, у меня есть билеты, я могу...

— Нет, спасибо, — ответил Жиль. — Не хочется вылезать из дому. Давай лучше завтра устроим грандиозный кутеж.

Он вовсе и не думал ни о каком кутеже, и Жан это знал. Но в театр уже было поздно: Жану пришлось бы ехать переодеваться, снова выходить из дому, и этот явно надуманный проект кутежа его устраивал. Он согласился, на всякий случай сказал с не принятой между ними нежностью: «До завтра, старик!» — и повесил трубку. Жиль почувствовал себя еще более одиноким. Он вернулся в гости-

ную, сел в кресло. Элоиза по-прежнему как замороженная не сводила глаз с экрана. Жиль вдруг взорвался:

— Неужели ты в состоянии смотреть это!

Элоиза не выразила ни малейшего удивления — только повернула к нему кроткое, смиренное лицо.

— Я думала, так лучше: ты тогда можешь не говорить со мной.

От изумления он опешил, не зная, что отвечать. И в то же время слова ее прозвучали так униженно, что он ощутил хорошо знакомый ему глухой ужас: кто-то страдает из-за него. И он понял, что его разгадали.

— Почему ты так говоришь?

Она пожала плечами:

— Да так. Мне кажется... у меня такое впечатление, что тебе хочется побыть одному, хочется, чтобы к тебе не приставали. Вот я и смотрю телевизор...

Она глядела на него с мольбой: она хотела, чтобы он сказал: «Да нет же, нет, лучше уж ты приставай, говори со мной, ты мне нужна» — и на миг у него возникло желание сказать это, чтобы доставить ей удовольствие. Но это была бы ложь, еще одна ложь — какое он имел право так говорить?

— Я не очень хорошо себя чувствую в последние дни, — произнес он слабым голосом. — Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной.

— Я не сержусь, — ответила она. — Я ведь знаю, что это такое. В двадцать два года со мной было то же самое — нервная депрессия. Я все время плакала. Мама безумно за меня боялась.

Ну вот, этого следовало ожидать! Сравнения! С Элоизой всегда все уже было.

— И как же это кончилось?

Вопрос был задан злобным, насмешливым тоном. В самом деле, разве можно сравнивать его болезнь с недугами Элоизы? Это же просто оскорбительно.

— Само прошло — ни с того ни с сего. Месяц я принимала какие-то таблетки — я позабыла, как они называются. И в один прекрасный день мне вдруг стало лучше...

Она даже не улыбнулась. Жиль посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью:

— Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки. Может, спросишь у мамы по телефону?

Элоиза встала и, подойдя к нему, обхватила ладонями его голову. Он пристально смотрел на ее красивое, спокойное лицо, на ее губы, столько раз целованные им, на синие, полные сочувствия глаза.

— Жиль!.. Жиль!.. Я знаю, что я не очень умная и вряд ли могу помочь тебе. Но я тебя люблю, Жиль, дорогой мой!..

И она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало и жаль ее, и в то же время чудовищно скучно.

— Не плачь, — говорил он, — не плачь, пожалуйста. Все уладится... Я совсем развинтился, завтра пойду к доктору.

И так как она продолжала тихонько всхлипывать, как напуганный ребенок, он дал ей слово, что завтра же обязательно пойдет к доктору, весело съел свою порцию холодной телятины и попытался немного поболтать с Элоизой. Потом, когда они легли в постель, он ласково поцеловал Элоизу в щеку и повернулся на бок, молясь в душе, чтобы больше никогда не наступал рассвет.